

## ЛЮБОВЬ

Егор Иванович, морщась от мурашек в затекших ногах, вылез из залепленной грязью плетушки, отпустил ямщика и, придерживая отдуваемые октябрьским ветром полы верблюжьего чапана, отворил калитку, – между железными ее прутьями на ржавом завитке прилип красно-желтый мокрый кленовый лист. Эта калитка, и свистевшие непогодой и унынием голые сучья клена, и в особенности мертвый лист – снова, с пронзительной остротой напомнили Егору Ивановичу то, о чем он старался не думать и о чем думал всю дорогу, три дня тащась в плетушке по уезду.

Подняв брови, Егор Иванович сказал: "Да, да" со вздохом, и пошел к дому, разъезжаясь ногами по глиняной дорожке. Сырой ветер мутил лужи и воду в человеческих следах, гнал косые холодные большие капли, рвал и мотал остатки листьев, свистел тоскливо вдоль мокрой деревянной стены дома, казавшегося пустынным. "Да, да", – иным, злым голосом повторил Егор Иванович, всходя на три ступени деревянного крыльца, поскреб сапоги о железную скобу и сильно несколько раз дернул ручку звонка.

Егор Иванович не испытывал никакого удовольствия – усталым и прозябшим войти к себе в чистый, опрятный, хорошо пахнущий дом, – вошел, заранее морщась. Сбросив чапан на руки востроносой, с необыкновенно тонкой талией горничной Соне – ненавистнице рода человеческого и жениной наперснице, – он спросил, дома ли жена, Анна Ильинишна. "Дома-с, у них гости", – ответил враг рода человеческого. Егор Иванович, глядя на ее поджатый ротик, на острый, как косточка, веснушчатый носик, сказал: "Соня, от вас опять пахнет карболовым мылом", – и пошел в умывальную, потом к себе в кабинет. Здесь было светло от трех больших чистых окон, пылали дрова в обложенном дубом, резном камине. "Да, да", – уже с некоторым примирением, с остатком вздоха, в третий раз ска-вал Егор Иванович, сел на кожаный диван и стал трогать влажную русую кудрявую бородку.

Он видел – на письменном столе, перед мраморной чернильницей, на которой, на медных крышечках, поблескивал отблеск камина, – лежит пачка нераспечатанных писем, бумаг и газет. Егор Иванович усмехнулся и покачал головой. Эта пачка деловых бумаг – так, нераспечатанная, – лежит вот уже больше месяца, а бумаги, очевидно, есть срочные, – страшно в них заглянуть. "Взять да и бросить всю пачку в огонь – одним словом, моя личная жизнь поважнее вашей трухи бумажной, – вот и все". Вдруг он заметил отдельно одно письмо, оно стояло ребром у самой чернильницы. Он соскочил с дивана, взял письмо, – штемпель был из Петрограда, конверт написан незнакомым крупным почерком. Егор Иванович подошел к окну, на минуту закрыл глаза и разорвал конверт.

"Егор, милый, мне немыслимо тебе писать, труднее, чем я думала... Я все время лгу... Господи, прости меня... Ты пойми, ненаглядный мой: я не чистая, вся душа моя не ясная. Глядеть в глаза мужу и думать о тебе! – я больше не могу лгать. Пожалей меня, пойми, мне – больно... Я пишу сейчас из парикмахерской, – муж бреется, он ни на минуту не оставляет меня одну..." Письмо было подписано – "Маша". Три раза перечел Егор Иванович нацарапанные карандашом, загибающиеся книзу строчки. Боль, жалость, ревность овладели им. Из-за строк он видел ее лицо, каким оно было за стеклом вагона в минуту расставания: прикрытое сеточкой вуали, нежное, грустное, с серыми взволнованными глазами. Она улыбалась растерянно... Когда окно двинулось – она зажмурилась...

Этим летом Егор Иванович встретил у своей приятельницы, Зинаиды Федоровны (дочери старшего врача земской больницы), девушки суровой, молчаливой и очень хорошенькой, ее замужнюю сестру, Марью Федоровну, Машу. Маша приехала к отцу и сестре из Петрограда – отдохнуть, – "пожить чистенько", как она говорила. От петроградской суеты, мужниных знакомых и их жен, банкетов, ресторанного времяпрепровождения и в особенности от мужа, Михаила Петровича, профессора международного права, – у нее к весне начинались дурные настроения: точно душа, как стекло, разбивалась на кусочки; кровь – мутная, сердце – как высохший мандарин. Зато здесь, у отца, Маша вставала рано, шла гулять в городской сад, еще мокрый от росы, глядела на детей, на птиц, на облака и чувствовала себя маленькой, кроткой, грустной и счастливой. В дождливую погоду она накидывала пуховый платок, садилась на диван с книжкой, подбирала поги под юбку и слушала, как сестра, Зюм, в круглых очках, стучит молотком по мраморной глыбе, – Зюм была очень талантлива. Ложилась Маша после вечернего чая, глядела на лампадку, плакала часто перед тем, как заснуть, но не от горя, а так – сама не знала от чего.